

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net

Все книги автора

Эта же книга в других форматах

Приятного чтения!

Леонид Николаевич Андреев **Москва. Мелочи жизни**

1

Я возвращался с одним знакомым из театра, где только что закончился последний акт драмы Ростана «Сирано де Бержерак». Ночь была прекрасная, теплая; на Тверской, освещенной словно днем, кишела толпа, но не дневная, та, что бежит по своему делу, а ночная толпа, наполовину состоящая из полупьяных людей, на другую половину — из проституток. Печально было смотреть на эту привычную действительность, когда перед глазами носился еще облик рыцаря и поэта, в ушах еще звучали наивно благородные излияния чистой, непродажной и верной любви.

— Романтизм! — ворчал мой знакомый, возвращаясь к разговору о виденной драме. — На кой черт преподносят мне этого выдуманного героя, в котором ни на грош нет трезвой правды и жизни? Сотню негодяев избил! Дерется, а сам стихи сочиняет! Икать уже перед смертью начал, а сам к своей Роксане тащится и дневник происшествий за неделю передает. А любит-то, любит-то как! Гимназисты и те уже теперь так не любят, да и любил ли кто-нибудь так глупо? Постеснялся, видите ли, истину об этом красавчике рассказать и женщину самым идиотским образом счастья лишил. Герой!

— Чего же вы хотите? — спросил я.

— Правды! — резко ответил мой спутник. — Лучше одного живого негодяя мне покажите, нежели сотню выдуманных героев.

— А это вас не удовлетворяет? — спросил я, указывая на одного в достаточной степени живого, хотя и пьяного, негодяя, нагло пристававшего к какой-то женщине. — Однако не вмешаться ли нам?

— Не наше дело, — равнодушно ответил собеседник. — А насчет этого живого мерзавца вы зря мне острите. Мы не о жизни говорим, а о сцене. Давай мне на сцене отражение действительной жизни с ее страданиями и радостями, а не...

— Вы так любите действительность?

— Я люблю правду.

Старый, отчаянно старый разговор. Так спорили между собой наши отцы, тот же спор услышим мы и среди наших детей. И правы будут, пожалуй, и те и другие, ибо правда жизни есть то, чего мы хотим от нее.

Почему в эту кроткую, тихую ночь все, что видели мои глаза: улица, залитая электрическим светом, наглые лихачи, кричащие, смеющиеся и взаимно продающиеся люди казались мне какой-то невероятной, дикой и смертельно ужасной ложью, а выдуманный, несуществующий театральный Сирано, на глазах публики снявший свой роковой нос, — единственной правдой жизни?

Я знаю, что теперь нет поэтов, которые во время боя сочиняют стихи, правда, их часто бьют, но уже после того, как они сочинили. Я знаю, что поэты никогда не бросают на сцену кошелек, если только это не открытая сцена Омона или «Яра», и кошелек при этом никогда не бывает последним: хорошему поэту редакция никогда не откажет в авансе. Я знаю, что поэты никогда не бывают так голодны, как Сирано, и так умеренны, как он, и если целуют руки у прислужниц, то только у своих и притом в отсутствие жены. Знаю я, наконец, что поэты никогда не говорят правды в лицо сильному миру сего, и если их бьют, как и Сирано,

по голове, то только за неправду.

И любят люди не так, как любил Сирано, — я знаю и это. Они не гонят со сцены наглого актера, осмелившегося любопытно взглянуть на их возлюбленную, а или спокойно отдают ему свое сокровище, или, быть может, и гадят, но только из-за угла, а потом скопом набрасываются на него и бьют. Если женщина их не любит, они не устраивают счастье ее с своим противником, но или обвиняют его в краже портсигара, или убивают: ее, соперника, даже себя; наконец, пишут анонимные письма и доносы. Не умалчивают они и о недостатках своего соперника: если он умен, доказывают его глупость, если он дурак, изображают его безнадежным идиотом. Иногда поэты и пишут для дураков любовные письма, но не дешевле, чем за рюмку водки — большую десятикопеечную. Никто, наконец, не пользуется красноречием для любви: его продают в суде, в книге, на кафедре, возлюбленную же молча обнимают и целуют: она сама и догадывается, что это значит.

Умирать же так, как умер Сирано, не только никто не умирает, посчитает за неприличие. Во-первых, умирают всегда дома, а не идут для этого в гости. Умирать начинают не за полчаса до смерти, а лет за тридцать по меньшей мере. Последнее, что перестало жить в Сирано, было его великое сердце — у настоящих людей оно умирает первым, так как и мало, и худосочно, да и излишне, говоря по правде. Страдая от боли, о боли именно и кричат, и если рассказывают анекдоты, как Сирано, то в непереносимой связи с собственным геморроем. Умирая, наконец, не вызывают на бой самую грозную смерть, а просят послать скорее за доктором, и если поднимают руку, то вооруженную не непобедимой шпагой, а пером, чтобы подписать завещание.

Все это я знаю, знаю вполне достаточно для того, чтобы жить, любить и умереть как настоящему человеку. Но почему я не верю во все это и правдой считаю то, чего никогда не бывает? Почему для меня убедительнее всех социологических трактатов и грошовой психологической мудрости эта неестественная смерть Сирано? Сейчас, в эту минуту, я вижу его, предательски лишеного жизни, но не мужества, вижу его встречающим эту всем страшную, бессмысленную смерть на ногах, как подобает мужчине, более гордый, чем сама эта царица подземного царства, встречает он ее. Колеблются старые ноги, дрожит рука, уже стиснутая железным объятием смерти, но шпага, орошенная черной кровью негодяев, сверкает победным светом и до последнего движения не изменяет великому сердцу, которому изменило все: счастье, любовь и сама жизнь.

Дорогу гасконским дворянам!

2

По поводу одного помещенного в нашей газете рассказа слышались голоса в защиту человеческой природы, будто бы оклеветанной автором. Есть возражения против художественной стороны рассказа: указывают, быть может, справедливо на его искусственность, манерность, видимое желание сгустить ощущение ужаса, наконец, на слабую психологическую разработку конца, — этой стороны вещи касаться не стану, не чувствую себя компетентным. Но по поводу того, что самый рассказ есть не что иное, как гнусная клевета на человечество, я позволю себе высказать несколько соображений. Вопрос хотя не злободневный, в строгом смысле этого слова, но не чуждый современности. Правда, из области общественных дел и интересов мне придется до известной степени выйти и совершить экскурсию в область морали. Но это уже не в первый раз и, думаю, не в последний. И не без причины. По некоторым условиям своей деятельности и по свойствам среды, с которой приходится иметь дело, журналист, газетный обозреватель в частности, очень часто попадает в плачевное положение человека, который думает, быть может, умно, а пишет о другом, и пишет и скучно и скверно. Все мысли его, например, направлены на македонский вопрос; во сне он видит македонский вопрос, наяву он терзается македонским вопросом, с знакомыми и друзьями он толкует о македонском вопросе, а как только сел он за письменный стол, из-под пера его выливается пламенная статья о г. Собинове, отравившемся

омарами, о поклонниках г. Собинова, жаждущих его исцеления, о новых условиях вознаграждения, требуемых г. Собиновым, концерте, который дал г. Собинов, о другом концерте, которого г. Собинов не дал, о третьем концерте, который г. Собинов даст или не даст, это как Бог ему на душу положит, о четвертом концерте...

Не отрицая связи испорченных омаров с божественным голосом г. Собинова и всей душой переживая ужас, который почувствовала вся Россия при страшной вести о трагической покупке, я затрудняюсь, однако, причислить этот прискорбный инцидент к числу тех наболевших вопросов нашей общественности, разработка которых давала бы публицисту чувство исполненного долга. Равным образом, как ни велик и ни многообразен г. Демчинский, дальнейшая эксплуатация скрытых в нем общественных богатств представляется мне излишней и бесплодной.

Не стану перечислять той сотни обглоданных костей, которые ежедневно выбрасываются московской жизнью в добычу голодной газетной братии, еще раз ею обглаживаются, закапываются в землю на черный день, выкапываются и снова обглаживаются — при визге и драке всей стаи. Факт тот, что омары и г. Собинов преобладают — и, уклоняясь от консервных излишеств, обозреватель волей-неволей затрагивает и разрабатывает темы общественно-морального и чисто морального характера. Всякий газетный обозреватель, весело попрыгивающий с Демчинского на Собинова и на том и другом оставляющий свои следы, или тяжеловесный Катон, похожий на человека в пароксизме зубной боли, — но в основе всегда моралист.

Есть и еще одна причина, выдвигающая на первый план моральные темы, причина, отчасти уже отмеченная г. Бердяевым в его статье «Борьба за идеализм», но к ней, ввиду ее важности, как-нибудь потом.

Возвращаюсь к вопросу о человеке-звере. Можно быть идеалистом, верить в человека и конечное торжество добра — и с полным отрицанием относиться к тому современному двуногому существу без перьев, которое овладело только внешними формами культуры, а по существу в значительной доле своих инстинктов и побуждений осталось животным. Как в лесу всякое дерево растет и развивается по-своему, так и в том сложном, что есть человечество, каждая особь развивается на свою мерку: то вершиной поднимается она горделиво над лесом и смотрит в небо, то, искривленная, стелется по земле. Трудно, да и невозможно вывести среднее, когда в одном конце лестницы находится полинезийский людоед, а в другом — Гладстон.

Но есть обширная группа людей, более или менее сходных друг с другом и близких по своим душевным свойствам, — людей, созданных одной и той же культурой. Один у них Бог, одни представления о добре и зле, одни взгляды на жизнь и смерть, одни и слова на языке: прогресс, гуманность, любовь, деньги. Это — люди по преимуществу, как они думают о себе, это результат многовековой культуры, то положительное и высшее, чего она достигла. Ниже этой массы миллиарды, выше ее — единицы. Это то, что называется культурным человечеством.

И эти люди горды и довольны собой. Колоссальный материальный и умственный прогресс, которого они являются творцами, дает им право с открытым презрением смотреть на низших, а тех одиноких, верхних, зачислять в свои ряды и называть братьями по духу и крови. Каждый день, подстригая ногти, они думают, что перестали быть зверьми, — и тысячи самых горьких, повседневных разочарований не в состоянии открыть им глаза. К одному они присмотрелись и не замечают его; другое на минуту взволнует их душу своей возмутительностью и зверством и, в сознании человечности переживаемого чувства, даст странное и обманчивое утешение. Я уверен, что бесконечно возмутительная англо-бурская «война» тысячи людей подняла в их мнении о себе — они ведь испытали благородные чувства негодования и гнева!

В этом наивном самодовольстве культурных людей, в их незнании границ собственного я (а точнее, по ницшевской терминологии, своего «сам») — я вижу опасность и препятствия к дальнейшему развитию и очеловечению их несовершенной природы. Человек собой

довольный — человек конченный, и если у вас тонкое обоняние, в его присутствии вы услышите запах разлагающегося трупа. Чтобы идти вперед, чаще оглядывайтесь назад, ибо иначе вы забудете, откуда вы вышли и куда нужно вам идти.

Если бы кто-нибудь мог подняться в бесконечную высь, одним орлиным взором окинуть все человечество, чутким слухом уловить его многоголосную речь — он, быть может, с негодованием выбросил бы из нашего языка самое слово «человек». Мягко журчащие речи о гуманности, божественные голоса гг. Собиновых, сладкие звуки песен и молитв исчезли бы для него в отчаянном вопле насилуемых, голодных, избиваемых. Он увидел бы культурных французов, совершающих ужасные варварства в Западной Африке, этом море, куда тысячью ручьев вливается гнусность и бесчеловечная злоба. Он увидел бы занятие тем же делом высококультурных англичан и немцев — да куда бы он ни обратил свой взгляд, всюду он увидел бы зверя, или откровенно жестокого, или бессознательно хищного и свирепого и еще более отвратительного в этой кроткой и тупой бессознательности.

Можно ли оклеветать тех, на совести которых лежит хотя бы одна только англо-бурская или китайская война? Они ссылаются, что между ними были пророки, — но разве они не избивали своих пророков!

К характеристике тех, которые обиделись за человеческую природу: они не заметили проституток. Они ужаснулись тому, что культурный юноша насилует беззащитную и уже оскорбленную девушку, и сказали: это неправда, этого быть не может. А проституток они не заметили. Дело, видите ли, в том, что проституток очень вообще много. Дело, видите ли, в том, что проституция есть нечто обычное, узаконенное и в небольших размерах допускаемое для самых благонравных юношей и старцев. изнасиловать оскорбленную девушку — это до того скверно, что даже невозможно, а пойти и купить ту же девушку, также тысячекратно оскорбленную, также беспомощную и несчастную, — это до того возможно, что даже и не скверно.

— Человек-зверь! Человек-зверь! — кричат про какого-нибудь насильника, и ужасаются, и обижаются — и спокойно идут в дома терпимости в полной уверенности, что совершают чисто человеческий, а не зверский акт.

Я не скажу, что всякий, хоть раз купивший женщину, совершил насилие, и когда он уверяет, что он не зверь, я не верю ему, а думаю: вот зверь, но только глупый.

В том-то и ужас нашей лживой и обманчивой жизни, что зверя мы не замечаем, а когда он заворчит и заворочается, принимаем его голос за лай комнатной собачонки — и ведем ее гулять или даем добродушно кусочек сахару: на, милая, скушай и успокойся. А когда в один скверный день избалованный зверь разорвет свою цепочку, вырвется на свободу и растерзает нас самих и наших ближних — мы изумляемся до столбняка и не верим: да мыслимо ли, чтобы сын мог убить мать и сестер? Да не сумасшедший ли он? Да мыслимо ли, чтобы образованный и интеллигентный юноша мог изнасиловать оскорбленную беззащитную девушку? Не гнусная ли это выдумка?

Есть прекрасный роман-сатира Уэллса «Остров доктора Моро». Там некий гениальный доктор задумал хирургическим путем очеловечить диких зверей, и это до известной степени удалось ему. Получились странные существа, с обликом и речью человека, с инстинктами и природой зверя. Хором, качаясь в такт, поют они данные им доктором заветы: «мы люди! мы не должны драть кору с деревьев, не ходить на четвереньках, не втягивать воду губами» — поют, гипнотизируют себя, даже верят, что они люди, а внутри рычит все тот же зверь и при малейшей оплошности вырывается на свободу. Есть там люди — тигры, но при всей их свирепости есть нечто худшее: люди — свиньи...

Культурное человечество уже высоко поднялось над этими творениями доктора Моро — но еще выше, еще выше должно стремиться оно! Пусть ваша любовь будет так же чиста, как и ваши речи о ней, — перестаньте травить человека и немилосердно травите зверя. Путь впереди намечен людьми-героями. По их следам, орошенным их мученической кровью, их слезами, их потом, должны идти люди — и тогда не страшен будет зверь.

Ведь все звери боятся света.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке [BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)